

Мгебров Александр Авельевич

**Жизнь в театре А. А.
Мгебров**

Комментарии Э. А. Старка

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А46

А46 **Александр Авельевич М.**
Жизнь в театре А. А. Мгебров: Комментарии Э. А. Старка / Мгебров Александр
Авельевич – М.: Книга по Требованию, 2022. – 508 с.

ISBN 978-5-519-95879-0

ISBN 978-5-519-95879-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

СТАРИННЫЙ ТЕАТР
ЦИКЛ ИСПАНСКОГО НАРОДНОГО
ТЕАТРА

„Беды изведав, сама помогать
научилась страдальцам“.

Слова Дидоны из „Энеиды“
Виргилия.

В ТЮРЬМЕ

По выходе из тюрьмы весной 1911 года я получил от Николая Николаевича Евреинова предложение вступить в Старинный театр. В заключении я провел конец осени 1910 и зиму 1910—11 годов все по тому же процессу по обвинению в участии в вооруженном восстании.

Тюрьма сделала меня во многом совсем иным, чем я был до тех пор; я сказал бы — она надломилась мой безудержный энтузиазм и страстную, не знающую никаких сомнений, экзальтированность; я вышел из тюрьмы, в первый раз в жизни с некоторым страхом озираясь вокруг себя. Впрочем, оснований для этого было весьма достаточно...

В самом деле, когда впервые, в 1905—06 годах, я очутился в тюрьме, — я попал туда непосредственно из самой гущи революции, отлично понимая смысл ареста; а в 1910 году меня арестовали, в сущности, без всякого смысла, отнюдь не за деяния, совершенные мною непосредственно, арестовали даже не люди, с которыми я лицом к лицу столкнулся в глубоких противоречиях, нет, я был лишен свободы, холодным, механическим государственным аппаратом и

только потому, что, раз завертевшееся в нем хотя бы в самые отдаленные времена, колесико остановиться уже не может, пока целый ряд других колес, за него цепляющихся, не совершат полностью всех оборотов. Похоже на то, как бывает в часовом механизме: есть часы точные, действующие без отказа, и наоборот, работающие с перебоями, часто без всякого толка. Мой случай можно сравнить с последними.

Вот вкратце история моего вторичного ареста. По освобождении меня, благодаря вмешательству отца, наместником Кавказа Воронцовым-Дашковым в 1906 году, прокурор Тифлиса ничего не сообщил об этом прокуратуре Кутаиса, где находилось дело о батумских событиях, и там фигурировала моя фамилия; кутаисское жандармское управление разыскивало меня в течение пяти лет. И какой курьез: я объехал с Орленевым и Коммиссаржевской всю Россию, в каждом городе играл под своей фамилией, подолгу красовавшейся на афишах, всюду прописывался и, несмотря на то, что все охранные отделения и жандармские управления России разыскивали меня, нигде арестован не был. При аресте в 1910 году, в Петербурге, мне предъявили обвинение в побеге и три грозных статьи: 100-ю, 101-ю и 102-ю, т. е. — обвинение в организации вооруженного восстания, бунта (так как я был военным), мятеже и принадлежности к партии. Все это обрушилось на меня, несмотря на то, что, как оказалось впоследствии, моя фамилия фигурировала только в одном показании какого-то батумского народного учителя, случайно слышавшего мою речь на площади,

где я предлагал, наравне с другими, похоронить с достоинством, невинно убитых казаками, рабочих. Обвинение усугублялось главным образом тем, что я был офицером.

Арест в 1910 году застал меня врасплох; с момента вступления на сцену и встречи с Орленевым, я оставил всякую активную революционную деятельность и всецело отдался искусству; естественно, что психика к тому времени приобрела уже некоторый оттенок оторванности, хотя и в лучшем смысле этого слова, т. е. просто-на-просто я постарался вовсе забыть о существовании властей предержащих и, не имея с ними абсолютно никакого дела, всеми помыслами стал жить театром и только им. Вот отчего на первом же допросе в жандармском отделении при аресте в 1910 году, я мог вообразить, будто жандарм способен сочувствовать мне и моему благородному порыву, почему и рассказал ему о себе то, чего никак не следовало говорить. При этом я категорически отказался без всякой в том надобности называть чьи бы то ни было фамилии, свое местопребывание в Батуме и в Тифлисе, одним словом, повел себя так, что после допроса жандарм сообщил отцу об ужасном впечатлении, произведенном моими показаниями. Таким образом, несмотря, казалось бы, на всю нелепость положения, возник большой процесс, тянувшийся вплоть до 1913 года, т. е. до суда Тифлисской судебной палаты. Началом же этого процесса и явился мой арест в 1910 году, от которого я был освобожден в дальнейшем лишь под денежный залог, оставаясь под судом и следствием.

В доме предварительного заключения я находился на положении большого, как будто даже опасного преступника; помещен я был в самую худшую камеру, где первые два месяца просидел в очень тяжелых условиях. Камера находилась бок-о-бок с коридором, через который заключенные пропускались на прогулку, и в течение целого дня каждые две-три минуты, при их выходе, поодиночке хлопали железные двери, и стук их гулко отдавался в мои стены, действуя на меня ужасающе.

Результатом пребывания в доме предварительного заключения явились начало туберкулеза, полное ослабление организма и глубокое расстройство всей нервной системы. Я вышел из тюрьмы весной 1911 года, едва держась на ногах.*

Однако, нет худа без добра. Новый арест сыграл для меня огромную роль в смысле самоуглубления и приобретения больших духовных ценностей, почерпнутых из сокровищниц мировой литературы и мысли, благо времени для чтения было слишком достаточно. Любопытными оказались также те впечатления, которые невольно отложились во мне от столкновения с различного рода положительными и отрицательными людьми. Хотя я и сидел в одиночке, все же разобщение с внешним миром не было настолько полным, чтобы уж ничего не видеть и ничего не слышать.

* Все, о чем я говорю сейчас, подробно описано мной в моих политических воспоминаниях, которые напечатаны отдельной брошюрой издательством „Каторга и ссылка,“ под названием „Воспоминания артиллерийского офицера“.

Помню, однажды в дом предварительного заключения были привезены с каторги на какой-то процесс восемнадцать политических. Все они были закованы в кандалы... Эти заключенные отнюдь не гуляли свободно по тюремному двору, — специально для их прогулок было устроено девятнадцать небольших клеток, помещавшихся по кругу, из центра которого они шли в виде треугольников, расширяясь к окружности; клетки были наглухо разобщены одна от другой, длинные и узкие, и только меньшая сторона их по кругу была не глухая, но решетчатая, сквозь которую заключенный впускался в свой треугольник, и таким образом видеть друг друга было невозможно.

Меня выпускали на прогулку, не знаю почему, девятнадцатым, вместе с упомянутыми восемнадцатью, и четверть прогулочного часа я проводил в девятнадцатом треугольнике. Моих сотоварищей я не видел, но ежедневно слышал звон кандалов, жутко гремевших вокруг меня. Они заполняли своим звоном весь этот адский круг, всего только на четверть часа отданный нам для света, воздуха и неба. И вот, когда, в исступлении от адского кандалного звона, мой взор поднимался к небу, — я упивался им до экстаза, и этот звон, казалось мне, превращался тогда в бунт тоски, скорби и проклятия бессмысленному человеческому существованию, в бунт во имя прекрасного грядущего.

А то еще как-то сквозь решетку камеры, я успел рассмотреть одного из тех, кто был закован в кандалы, успел потому, что глядеть в окна было строго запрещено (в глухие желез-

ные двери каменных мешков, через маленькие глазки постоянно наблюдал страж, твердо и неуклонно выполняя свои обязанности — „запрещать“ и „не допускать“). Окно камеры находилось достаточно высоко и, чтобы быстро подняться и взглянуть в него, нужно было быть хорошим гимнастом. Мы, заключенные, все же успевали и умели глядеть. Так вот однажды я и успел разглядеть прекрасного человека, бессмысленно скованного по рукам и ногам. Человек этот был высокого роста, блондин, могучий и широкоплечий. Волосы радостно вились на его голове. Ни отчаяния, ни усталости, ни тоски в его фигуре не чувствовалось. Напротив, от него веяло бодростью и силою здорового, нормального человеческого существа. Вскоре он стал центром внимания и любви всей тюрьмы. Каким образом? — я, разумеется, не мог знать, за невозможностью общаться с заключенными, но я чувствовал это сквозь все стены, решетки и замки и наверное точно так же, как обычно чувствуют все заключенные. С какой чудесной здоровой бодростью выходил этот человек на прогулку! Как хорошо он расправлял на воздухе могучие члены своего тела, улыбаясь при этом буквально всем, всей тюрьме и далекому и близкому в одно и то же время небу, которое все же никак не могли отнять от нас злые тюремщики. Почему же он был в кандалах? Он, такой красивый, в котором было столько обаяния и такой привлекательной силы?..

За это же время в памяти моей остался и другой человеческий лик, мелькавший иногда против моего окна в прогулочной клетке. Человек

этот походил на только что пойманного и запертого волка. Он был совсем молод, с очень острым лицом и длинным, таким же острым носом. Мне указали на него как на предателя. Он особенно смахивал на волка потому, что не ходил, но буквально метался в своем треугольнике, делая какие-то полукруги, быстрые и волнообразные, с настоящей звериной ухваткой. Голова его всегда была сильно опущена, и только изредка, исподлобья и искоса, он взглядывал по сторонам. Жуткое впечатление производил этот человек. Я глядел на него почти с отвращением, но одновременно и с огромным любопытством. Тюрьма его ненавидела... молча, неслышно, незримо, но глубоко и сильно — до исступления...

Эти два человеческих лика казались мне тогда символами всего человеческого бытия. Тюрьма гармонировала с моими представлениями... Она была и жуткой, темною бездною и—безгранною, как само небо... Один,—могучий, широкоплечий и кудрявый представлялся мне словно созданный из голубых атомов воздуха и света. Другой же в моем воображении казался призраком адского дантовского круга, и на лице его, в его глазах горел черно-красный огонь жестокой ненависти и отчаянного проклятия.

В тюрьме все чувства и мысли обостряются. Здесь научился я глубоко проникать в существо человеческих образов. Здесь, читая Данте и Гёте, я создавался и креп как художник. Жизнь, скудная впечатлениями, углублялась до полноты обнаженности, которая только одна и есть начало всякого творчества.

Как изумительно последовательно вела меня судьба по артистическому пути! В самом деле, Старинный театр, куда вошел я после тюрьмы, разве не потребовал именно тех ощущений и восприятий жизни, которые пережил я в тюрьме? У Лопе де Вега, в его гениальной пьесе „Овечий источник“, есть сцена, где изображаются пытки. Я живо чувствовал ужас этих пыток, потому что познал их на самом себе. Не все ли равно — морально или физически? Главное, я познал ужас их внутреннего смысла...

О, как живо я представляю себе сейчас мою тюремную камеру! Она помещалась внизу, в самом первом этаже, сырая, холодная и полутемная. Высоко над полом, в глубокой нише виднелось маленькое, за тройными решетками, оконце. В него струился желтый, тусклый свет, отраженный от желтых же высоких стен тюремного двора, куда оно выходило. Чтобы увидеть небо, нужно было подниматься на локтях, прижиматься к решетке и напрягаться до последней степени. В моей камере, размером в три квадратных аршина, были всего-на-всего маленький, не больше десяти квадратных вершков, железный столик, состоявший собственно из доски, могущей быть откинутой к стене, и такая же железная, узкая-преузкая кровать (днем также откидывавшаяся к стене), еще в десять вершков шарнирный железный табурет и... параша... Вот и все. Отчего же эта камера отразилась в моих воспоминаниях как величайшая, мудрейшая школа жизни? Не оттого ли, что за моим маленьким железным столиком я пережил столько прекрасных моментов, читая